

A surreal illustration for a book cover. A massive blue whale is shown breaching the water, its head and back visible above the surface. In the background, a large three-masted sailing ship is on the water. In the foreground, a man in a dark coat stands with his back to the viewer, looking out at the sea. The sky is a mix of blue and yellow, suggesting a sunset or sunrise. The overall style is painterly and atmospheric.

Кирилл Килунин

История моего моря

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Кирилл Борисович Килунин

История моего моря

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63701831

SelfPub; 2025

Аннотация

Ты слышишь море, оно шумит, там, за стеной, или в твоей голове. Ты думаешь, что твоя жизнь – это вечное возвращение к этой волнующейся воде. Ты чувствуешь вкус соли на губах и, зажмурившись, видишь аквамариновую глубину, пронзенную солнечным лучом. Тогда ты такой же, как я, и внутри тебя плещется собственное море или, возможно, целый океан... Это – история моего моря.

Содержит нецензурную брань.

Обложка сгенерирована самостоятельно с помощью нейросети Сбер Кандинский. Использование картинки разрешается правилами этой нейросети.

Содержание

Пролог	4
1. Общага	6
2. Утро. Моя обитель	12
3. Наташа	16
4. Ветра. Контора	24
5. Сны о собаке	30
6. Лиса прогонит твой страх	32
7. Я помню бесконечное небо пронзенное стрижами	39
Конец ознакомительного фрагмента.	47

История моего моря

Пролог

Ты слышишь, шум моря, там, за стеной? Я иногда его слышу.... На самом деле – там очередная зима, моя сорок первая зима... , моя война. С кем я воюю? С этим чертовым миром. Но иногда, в минуты просветления, я четко осознаю, что воюю с самим собой, за право быть или жить, как хочу. Но иногда, там за стеною, я слышу море. Оно прячется за снегопадом, запущенным парком, у старой школы, там, где скоростное шоссе, по которому сутками напролет летят автомобили, и ходит общественный транспорт. Пш-ш-ш, – скрипят шины, когда рукотворные металлические коробки соприкасаются с потрескавшимся асфальтом. А я лечу – у...

Сорок первый год, а я все еще летаю во сне. Может быть расту? Или глупая душа все никак не уймется... , сговорившись вместе с сердцем, они часто мешают мне жить. Тук-тук – стучит сердце, а душа шепчет на ухо, что еще можно поймать за хвост само несбывшееся. Я помню, чем закончилась эта история у Саши Грина, и готов пройти той же Дорогой за той, что, что бежит по волнам, меж хищных треугольных плавников, туда, где рассвет.

* * *

Когда я засыпаю, то иногда, читаю про себя, выдуманную когда-то, еще в сопливом детстве молитву. Там по другую сторону сна она светит путеводной звездой и не дает упасть в пустоту. В пустоту можно падать бесконечно, на то она и пустота.

* * *

Иногда, когда я читаю свою молитву, перед тем как заснуть, я называю чужие имена..., я очень хочу, чтобы они стали моими, хотя бы не надолго, хочу, чтобы было у них все, я кричу их, а они превращаются в чаек: Квей – квей-квей. Их белве острокрылые тени уносит морской бриз: фьютъ и нет больше ничего. Такое у этого самого фьютъ особое свойство.

* * *

Иногда, по ту сторону сна, мне удастся выстроить, то, что когда-то называлось прошлым. Мои потерянные миры. Уютная нора для заблудившегося хоббита. Моя общага...

1. Общага

В смутные нулевые, будучи студентом, я часто бывал в обоих кульковских общагах. И в общежитии № 1, на бульваре Гагарина – в типовой – неприметной, но притягательной как скала Улинъюань, живущей в зыбком тумане – махине «девятиэтажки», где вечно пасутся стада самых серых теней. Просто, комендант и профсоюз студентов – тогда сэкономили на электричестве. И соответственно, света не было на межэтажных площадках, и в лобби на этажах. Света не было в кабинетах, где у нас проходили установочные занятия по сценографии и сценической речи. Свет был в наших сердцах. А наши глаза и юные взгляды спасали огромные окна без штор, окна – практически – во всю стену, окна – выходящие на солнечную сторону мироздания. В эти окна зимой было видно, как поднималось и заходило солнце. За окнами начинался Большой лог с его развалившимися и проржавевшими олимпийскими трамплинами, холмиками поросшими бурьяном, на них когда-то стояли остроги и крепости ушедших, канувших в лету древних народов.

А еще в эпоху нулевых, во всем огромном здании гагаринской общаги, было всего четыре рабочих туалета на все девять этажей. И, кажется, единственный душ. Душ располагался на первом, напротив большого светлого помещения, в котором занимались ученики – живописцы широковской

школы письма, эти ребята постоянно разгуливали с заправленным вовнутрь вытертых джинсов мирозданием, в заляпаных краской халатах, и в вытянутых поеденных молью свитерах.

Несмотря, на все бытовые трудности, люди в единичке жили безмерно дружно, практически, как одна большая, сумасшедшая итальянская семья. Когда у Аннушки и Веры ввиду закоротившей проводки выгорела их однокомнатная клетушка, этих девочек первокурсниц не выселили за порчу вузовского имущества, просто собрались всем этажом и помогли с ремонтом, кормили их еще, потом целый месяц, и одевали, пока, не приехали прознавшие о беде девчонок родители. Впрочем, у всех, кто жил в единичке было принято – делится, и никак иначе. Иногда, запах жареной картошки стоял на два три этажа, просто одному из ребят родители привезли несколько мешков этого чудесного и очень питательного корнеплода (в этом убеждены все белорусы и я), а у остальных просто уже нечего было жрать.

Случались в единичке и конфузы похлеще пожара, впрочем, не выходявшие за пределы местечковых сплетен. Например, мне рассказывали о том, как студенты режиссерского факультета ПГИКА, живущие в единичке, купили у цыган грамм кокаина, и смешав его с клеем «момент», дегустировали эту адову смесь на шестом этаже, от чего потом делали разные смешные и странные вещи, вроде как: некоторые пытались выброситься из окна, плакали, смеялись, носились

полуодетыми и пели похабыне песни. Те же самые режиссеры, однажды, затеяли снимать порнофильм, правда не совсем удачно, их застукала комендантша и пообещала выселить, если еще раз узнает о подобных непотребствах.

Бывал я и в двойке – маленьком – красном, пошарканном, но уютном пятиэтажном здании – в общежитии на Плеханке. Оно располагалось где-то на отшибе, то есть – вдали от центра, там за Центральным рынком и деревянными постройками времен батюшки царя. В двойке раньше жили и сегодня еще живут в основном одни преподаватели, библиотекари и студенты некоторых особо творческих специальностей. Я тоже в нем жил, около двух лет (или два курса института) с одной милой библиотекаршей по имени Наташа. Сначала мы жили в комнатке с окнами на Север, в них беспрестанно светило безумное солнце, где-то за солнцем начиналась промзона, и еще какие-то окраины. Это был верхний этаж, немного запущенный, ветхий, но такой уютный и шумный. Коридоры с рядами умывальников, душевые комнаты – запертые на всякие замки и поделенные общинным методом – «вась – вась». Здесь по бесконечно длинному коридору ночами из комнаты в комнату бродили студенты мужского пола в одежде Адама и растоптанных домашних тапках, навещающая дев с пониженной социальной ответственностью, весело пели под гитару, и пили – привезенный из деревни самогон, запивая его смешанной с вареньем водой.

Здесь я впервые полюбил мыть посуду, так как девушке

Наташе это занятие ужасно не нравилось, а меня успокаивало. Может быть от того, что во время процесса «мытия» мне начинало казаться, что я становлюсь сам немного чище, может потому, что рядом регулярно мыли посуду чрезвычайно симпатичные студентки, они смеялись, рассказывали свои девичьи истории, галдели как птицы – обсуждая мальчишек, и строили мне глазки. Девчонки расстегивали верхние пуговицы халатиков, так что были видны крепкие грудки или, надевали хлопковые майки, позабыв поддеть под них лифчик. Заметив сие безобразие, моя Наташа стала все реже и реже отправлять меня к общественным умывальникам и начала мыть посуду сама.

Так и жили...

Затем, мы с девочкой Наташей переехали в комнату по просторней, с окнами на Юг, двумя этажами ниже, в крыло преподавательского состава. Здесь было потише, но часто ссорились блоки на блок, или внутри своего двухкомнатного континуума из-за того, что кто-то выбросил свой мусор в коридор или заляпал весь туалет фекалиями. Просто в голову не приходит, кто, мог таким заниматься на преподавательском этаже, но за пределами формы таится иногда самое странное и фрустрирующее содержание, и этому – что «внутри» – хочется, видимо выходить из собственных рамок, как выходит река из своих берегов, когда наступает паводок.

Однажды, после активных занятий любовью, часа в три ночи, нам с Наташей вдруг отчаянно захотелось чебуреков.

Мы скребли муку по сусекам и из половины пачки куриного фарша, разведенного кипятком, луком, яйцом и капустой настряпали целых два огромных чебурека, тут же пожарив их на раскаленной сковороде, задействовав электрическую плитку. Вкуснее этих самых внезапных чебуреков я не ел, даже в солнечной Абхазии они не были столь вкусны и желанны.

Наверное, это были мои самые счастливые времена, будучи не отягощенным жизненным опытом, с душой христианина, я жил по принципам истинного буддиста, не желал ничего, чего бы у меня не было. Честно, было кажется – мало, но этого мало – хватало для полного счастья. Сейчас имея больше, в десятки или сотни раз, я никак не могу ощутить то, что было тогда. Думаю, во всем виновата смена приоритетов. У меня была любимая женщина, свой угол – называемый домом, немного карманных денег, достаточно свободного времени и фантазии, чтобы превратить эти ограниченные ресурсы в рай для двоих. Мы шуршали рыжей листвой в Черняевском лесу, вытряхивали последнюю мелочь, чтобы купить парочку глазированных творожных сырков. И, смеясь, топали домой пешком, три или четыре остановки трамвая, бездумно истратив всю наличность на эти самые сырочки. О, как мы их любили. Я обещал своей библиотечкарше – Наташе, что когда разбогатею куплю их целую коробку... И так и не сдержал своего обещания, не разбогател, и творожные глазированные сырочки Наташа больше не ест, она мечта-

ет о хорошей машине и об отпуске на дальних берегах.

Мы изменились больше, чем окружающий нас мир, мир не меняется для тех, кто видит настоящие вещи и знает то, что делает его счастливым на данный момент бытия, а завтра, кто знает это самое завтра, ведь оно еще не настало..., хотя в моем окошке зиждется утро... нового дня.

2. Утро. Моя обитель

– Наташа, вставай, – я касаюсь ее обнаженного плечика, прячущегося в глубине казенного клетчатого одеяла.

– М-м-м, – а в ответ, ее милая, взлохмаченная головка ныряет под подушку.

– Ну что ты как маленькая, – я обнимаю ее такую горячую и тонкую, пахнущую воздушными снами и кипяченым молоком. – Пора вставать...

– Отстань..., – моя Наташа, словно мышка в норке.

Я гляжу на будильник.

– Мы проспали!

За окном зимняя тьма, на будильнике половина девятого утра. Мне к первой паре, а Маше на службу к девяти часам.

– Не хочу – хнычет это большая маленькая девочка.

Ну что ты..., – я вытаскиваю ее из под одеяла и начинаю одевать как ребенка, сначала колготки (скрутив их калачиком начиная с носочков), затем брюки, водолазку, теплые носки, встряхиваю эту соню и, отправляю в коридор умыться. Сам одеваюсь впопыхах, словно бывалый боец, укладываюсь в 40 секунд, пока горит спичка моего несуществующего сержанта. И вываливаюсь в коридор, в котором с мину-ту назад пропала Наташка (конечно, она не любит, когда я ее так называю). Туалет, умывальник, назад. Когда я возвращаюсь, Наташа складывает в сумку пакет с овощными загото-

вочками от мамы, и сваренную заранее гречу в пакетах – наш обед и возможно и ужин, если мою девочку снова задержат на работе, готовить очередной отчет. Я люблю сидеть с ней вместе после пар, вечерами в опустевшем институте, когда погашены все огни и старое здание вуза готовится уснуть, здесь хорошо. Сто тридцать пять лет назад, это было духовное училище – самое большое здание в нашем городе, построенное тем, кто с верой ходил по холмам и горам. Тогда к старому правому крылу пристроили новое – левое. И здание – выкрашенное в цвета сирени воспарило над Камой рекою.

Духовное училище находилось в здании будущего института культуры до своего закрытия в смутном 1918 году, когда духовность пала, тогда этому дому, как и всей Перми, пришлось пережить ряд суровых испытаний. Когда в конце 1918 года товарищ Акулов, прихватив городскую казну, стремительно отступил вместе с красными, и в город вошли белые войска Колчака, в бывшем духовном училище разместилась контрразведка. В подвальном помещении колчаковцы пытали пойманных большевиков и их сторонников, трупы тут же в подвале засыпали землей. Позднее, в начале 1920-х годов здание, требовавшее больших затрат на отопление и освещение было заброшено и стало постепенно разрушаться. Растерявшиеся от рвотных позывов эпохи горожане растащили отсюда всю мебель (в городе было плохо с дровами), сломали окна, печи. Когда в 1923 году во времена нэпа пустовавшее здание бывшего духовного училища было передано Перм-

скому рабфаку, его пришлось долго приводить в божеский вид, или наводить здесь партийный порядок.

Тогда, студенты – комсомольцы с красными флагами и пламенными речами вышли на внеплановый субботник, и принялись за чистку. Они таскали мешками землю из темных холодных подвалов, а там попадались, где нога, где рука или голова. Студентки комсомолки визжали, но делали свое правое дело, украдкой, крестясь.

Конечно, я ничего не знал об этой мрачной истории нашего ПГИИКа... Когда я начал учиться в этом здании, из него, кажется уже бежали все призраки прошлого. Возможно от того, что репетировавшие в подвальных этажах до самой ночи хореографы слишком громко топали, или, просто культура страшная сила, чем-то похожая на религию или веру, и здание это было по – своему «намолено», или отмолено поколениями чистосердечных студентов и многочисленными талантливыми педагогами, такими, как Футлик, или маэстро Данилин. И отбелено предыдущей плеядой духовных отцов, тех, что управляли им до 1917 года.

Мне здание нашего теперешнего ПГИИКа, со стенами, раскрашенными во все оттенки воздушного праздничного тора с кремом, всегда напоминало большое приземистое дерево (вяз или английский дуб) Большое старое дерево. В подвалах корней холодная тьма и сырость. Здесь – располагались многочисленные комнатки-душевые, для отзанимавшихся хореографов. Это были комнатки с вечно текущими

кранами, в которых никогда не меняли прокладки. Тут же в подвальном этаже располагались склады и огромная столовая – вода и питательная среда. На уровне ствола, на общественных этажах – монолитность десятков просторных кабинетов, студий, залов с колоннами и винтовых лестниц, ведущих в облака, под самую крышу, туда – ввысь, к мансардным этажам, где кажется, ощущалась настоящая воздушность древесной кроны. Когда мы занимались там, на самом верху, все время на краешке сознания слышалось шуршание и свежесть зеленой листвы. К концу моего обучения в верхние мансардные этажи переехала наша библиотека. И к шуршанию листвы, добавилось шуршание страниц старинных, кажется уже утраченных, когда – то давно фолиантов.

Мой вуз – моя обитель. Никогда мне не было здесь в тягость, особенно когда был влюблен, так безответно, как бывает только в юные годы.

3. Наташа

С Наташей мы познакомились, когда мне хотелось умереть от очередной (хотя, если честно, от самой первой настоящей) безответной любви. Хотя острая стадия данного душевного неблагополучия уже прошла, внутри, оставалась какая – то тоскливая пустота, которую, кажется, совершенно нечем было заполнить. Именно тогда я случайно поймал солнечный зайчик Наташиной улыбки. Тонкая как тростинка – какая-то вся миниатюрная, милая серая Наташа, с выразительными серо-голубыми глазами. Она была такая светлая и воздушная, хотя и предпочитала красить свои волосы только в темные цвета спектра глубокой ночи. Наташа улыбалась, словно выпускала своими бледно-розовыми губками солнечных зайчиков. Я поймал своим взглядом кусочек этого призрачного тепла и прижал к области сердца, по крайней мере, география моего тела указывала, что когда-то, именно здесь оно находилось и кажется, билось в унисон моему дыханию, пока не порвалось.

Так мы впервые встретились, уже потом, год спустя она рассказала, что впервые, она увидела меня по дороге на службу в кабине дребезжащего алого трамвая, Наташе тогда показалось, что я ей улыбаюсь.

– Это ведь правда? – спрашивала она, прижимаясь ко мне все теснее, так, что эта теснота начала превращаться в насто-

ящую близость.

– Конечно, милая... – я целовал ее в макушечку, там, где было серое пятнышко не покрашенных волос. «Конечно, я улыбался тогда только своим внутренним демонам», думал я про себя. Но сказанное этой светлой девочке тогда вовсе не было ложью.

* * *

Впервые заговорив, мы стояли в библиотеке перед самым ее закрытием, когда все студенты и преподаватели уже разбрелись по домам, с окошками с переплетом в виде большой буквы Т. Наташа тогда отчего-то хмурилась, а я прыгал перед ней зайчиком. Она начала хохотать, как будто прорвало весеннюю ледяную плотину или затор. Она хохотала заливисто и чисто, как глоток прохладной воды. Я коснулся тепла ее рук и почувствовал огонь, мне захотелось сделать для нее тут – же что-то волшебное. Конечно, тогда я мало знал о волшебстве, поэтому пытался импровизировать. Из кусочка бумаги сделал букет роз, дунул на него, чтобы он распушился и стал живым, и подарил. Она снова рассмеялась, и тогда, я решил, что, наверное, не смогу жить без ее смеха.

Уже позже, после наших первых поцелуев, и прогулок по ночному застывшему городу, Наташа, приглашенная на наш студенческий капустник, подготовленный к преддверию новогодних праздников, хохотала, когда на большой сцене я

читал рэп. А затем, вне сценария, по просьбе братьев меньших, ребят менеджеров культуры с первого курса, обнимался на ступеньках сцены с белоснежным зайцем. Это была очень красивая голубоглазая блондинка с пухлыми губами, находящаяся в образе милой зверушки. Совершенно не помню, что тогда она мне сказала и во что вообще мы играли. Помню, только возмущенный крик Наташи, и снова, ее чистый смех: Изменник! Я прощаю тебя, чертов обниматель белоснежных заек!

Я был рад, что меня простили, я не хотел рушить, то, что еще не родилось, не выбралось на белый свет, тогда я думал, что это – любовь.

Второй раз с этой зайкой мы встретились снова – случайно, спустя семь лет. Это была презентация новой линейки услуг, какого-то местечкового банка. Все в том же костюме белоснежной заи, с еще более выдающимися формами и чистотостью глаз, она выбрала меня из толпы бездушных зевак жующих халявные тарталетки с фальшивой красной икрой, и подошла, чтобы обнять, протягивая мне рекламный буклет. Возможно, это была моя судьба. Но я произнес: Спасибо..., – отвернулся, закрыл глаза и ушел. Я ушел, убеждая себя, что мне никогда не нравились эти блондинки, и еще я уже тогда потерял свою веру, и до сих пор ее ищу, или только делаю вид. Я потерял веру в любовь.

Такие вот, зайцы...

* * *

Она – моя Наташа, целует меня в какую – то особую точку посередине лба. И тут уже никакого секса, одно сплошное блаженство. Как будто она целует твои мысли. Не знаю, откуда Наташа узнала об этом поцелуе. Определила сама, научили подруги, или может быть, точно так делала ее мама в далеком розовом детстве, и это осталось в ее крови. Больше никто мне такого не делал.

* * *

Было у нас с Наташей еще одно волшебное место – большой торговый павильон – рядом с остановкой по дороге в общагу, в него мы часто забегали, чтобы купить свою половинку нарезного батона.

Почему волшебное место?

Потому, что в особо трудные времена, когда в карманах одиноко позвякивала немногочисленная мелочь, я аккуратно находил в одном и том же месте – в нише на полу прямо у кассы десятирублевую купюру, забившуюся туда, словно бездомный кот. Так случалось раз шесть или семь, поэтому я именую все это волшебством.

Бывало, в самые безденежные времена, меня останавли-

вали незнакомые люди прямо на улице и предлагали помочь разгрузить машину с товаром. Я никогда не спрашивал, сколько заплатят. Обычно это была небольшая купюра номиналом от 50 и до 100 рублей, но мне хватало этих денег, чтобы выйти из очередного финансового пике.

Да, еще у нас была моя повышенная стипендия и крохотная зарплата библиотекаря – Наташи.

Всего этого вполне хватало на нашу безрассудную жизнь.

Все что мне удавалось заработать на ярмарках и в торговых командировках, я отдавал маме, не оставляя себе ничего, ей тоже было не просто. Правда и тут случались чудеса. Один раз 31 декабря, на Новогодней ярмарке, шикарно одетый господин, забыл на нашем столе свой пакет с французским вином и шикарным букетом из 21-й голландской белой розы. Мы прождали его возвращения до самого закрытия и еще полчаса, он не вернулся, а ярмарка прекращала свою работу. Маме досталось вино, а мне – шикарный букет. Я, бережно закутав его в три слоя газетной бумаги, нес его через снегопад, прижимая, словно живое существо, на улице стояли настоящие морозы под -30, общественный транспорт плохо ходил. Я донес этот букет. Наташа улыбалась. Кажется ей, никогда еще не дарили такие цветы. Но ничего не может быть вечным...

Я всегда, на уровне черного ящика собственного подсознания, страха пещеры и другой подобной архаики, боялся любых перемен.

Почему?

Наверное, потому что, где-то в глубине себя подозревал, что именно они (эти самые перемены) – убивают жизнь, такие, знаете ли – «стивенкинговские» Лангоньеры. Эти грязные пожиратели нашего прошлого, времени, и возможно значительной части настоящего. Мне всегда хотелось поймать неудержимую частицу настоящего (счастья) и никогда ее не отпускать... А тут, внезапно наступали они – перемены. И все менялось, окружающая меня обстановка, весь мир и я в нем менялся. В новом или обновленном мире, мне нужно было от этого мира уже, что-то другое. А я, не хотел. Вот такая вот глупость.

Впервые мы поссорились с Наташей из-за перемен. Она очень хотела, чтобы у нас все происходило как в кино, посредством волшебного монтажа.

Вот мы держимся за руки.

Целуемся.

Спим вместе, занимаясь любовью.

Мы женимся.

Я становлюсь успешным и богатым, и у нас тут же появ-

ляются дети: погодки: мальчик и девочка.

Мы живем в собственном доме, за окном плещется море..., а может быть океан.

* * *

Я хотел просто – жить, со вкусом счастья на своих губах, в душе и в самых светлых уголках своего сознания.

Я знал, что любовь – это больно.

Я знал, что без любви окружающий мир темно – серый.

Я не знал, люблю ли я Наташу, хочу ли жениться, и что значит семья.

Я многое тогда еще не знал и не умел, у меня не было хорошего примера, только книги. Я верил книгам, но знал, что, то, что живет в них, может жить только там, меж этих шуршащих желтых страниц, под картонной обложкой, имитирующей живую кожу, с бахромой осыпающейся позолоты.

А Наташа – хотела любить, она учила меня как это делать. Такая оказалась выдумщица: мы занимались любовью – в общественном душе, кабинете декана, и в ее родной библиотеке. Мы сами себе казались такими свободными и вездесущими, простыми и неразгаданными. Нет, я все вру. Мы не казались. Мы – были.

Я всегда был романтической сволочью... Романтика в моей голове, это полет и ощущение Мира, я ничего не понимаю, а чувствую только, чаще чувствую боль..., но иногда полет или бесконечность, любовь, то, как шумят звезды и волнуется вода, готовая превратиться в снег, дождь или волну. Чувства в моей голове способны созидать и разрушать в одинаковой степени, без какого либо расчета, я ими живу, пока не сломаюсь окончательно. А в Наташе уже тогда что-то начало ломаться. Иногда она устраивала истерику, как мне казалось – на пустом месте, крича и топая ножкой обутой в кожаную лодочку цвета – «кофе без молока».

– Как мы – живем! Я устала... Ты можешь идти разгружать вагоны на станцию Пермь 1, чтобы все изменить!

– Что изменить? – спрашивал я ровным шепотом. – Я не люблю перемен...

– А меня, меня ты любишь? – кажется, она готова была вот – вот зарыдать.

– Я не знаю... – отвечал я. Наверное, да.

– Вот – вот..., – стенала она.

А я, чувствовал себя пустым местом, тем с которого и начался весь этот скандал.

Именно тогда, я почувствовал, что снова подули ветра, ветра перемен.

4. Ветра. Контора

Девяностые и нулевые, это была эпоха сильных ветров, и главным в эту ветреную эпоху было уцепиться за что-то для тебя очень важное и держаться. И я держался, из последних сил. Наверное, потому что верил в разные светлые глупости: любовь, правду, дружбу, отвагу и бескорыстное служение великому делу, хотя толком не понимал суть этих вещей.

* * *

2001-ый, в ветреных нулевых был последним годом, когда мне пришлось увидеть настоящих бандитов в их естественной среде обитания, снимавших дань с очередного ларька. Когда-то эти самые ларьки были раскиданы по всему нашему району и городу. Они располагались целыми островами по три – четыре, и в одиночку, склепанные из ржавого железа, похожие на большие сейфы с амбразурами окон. В них торговали паленой польской водкой и спиртом Рояль, сигаретами из тех же Палестин, жвачкой, лимонадом, презервативами, колбасой, и всем, что, угодно, от нижнего кружевного белья, и до турецких дубленок.

Бандиты были приземистыми, с лицами испещренными угрями и шрамами, с большими черными пистолетами, за-

сунутыми под резинку спортивных штанов, как они у них не выпадали... во время ходьбы. Все как в дурацком кино – бандиты в солнечных зеркальных очках и с совершенно квадратными плечами и физиономиями.

Они ржали как кони и громко матерились, я заскочил в подошедший трамвай и умчался в сторону 1905 года, кажется, срочно нужно было купить пару кг картошки на местном Колхозном рынке.

В другой раз, проходя по улице Дружбы, в каких-то дворах, я обуреваемый юношеским оптимизмом и пофигизмом, решил сократить свой жизненный путь или срезать его – пересекая линию отчуждения – глубину между заброшенками и пустырями. Там они и стояли – друг против друга, несколько черных машин и еще люди характерной наружности в кожаных куртках, бритые наголо с пистолетами и автоматами в руках. Я здорово испугался и приобрел от этого излишне деловой вид, стараясь не прибавить и не убавить свой шаг, глядя под собственные ноги, я поспешил ретироваться. Думая о том, что если чихну, запнусь или издам еще какой ни – будь – неприличный звук, то, возможно начнется стрельба.

На следующий – 2002 год все бандиты уже куда – то резко исчезли. Наверное как и везде – самых отмороженных перестреляли, и они заняли свое место на Северном кладбище – в Аллеях братвы. Кого-то, закрыли лет на десять или двадцать. А самые продвинутые, и не глупые, стали нашими депутатами, как мистер Т – бывший спортсмен дзюдоист, за-

нимающий и сейчас один из высших постов государства в далекой северной провинции, еще далече чем мы. Думаю, если бы не его темное прошлое, он мог бы вполне оказаться нашим очередным президентом, тем более очередность эта так давно не менялась.

* * *

В лихие 90-е и в начале 2000-х меня пару раз пытались ограбить, раз зарезать и несколько раз втянуть в какую – то очередную аферу, грозившую потерей всего, что имею, или длительным сроком заключения.

А Ленка Гулена, говорила, что бандитов не бывает, их выдумали вы журналисты (обращаясь ко мне), чтобы заработать бабла. Я возмущался, во-первых, от того, что видел эти самые мифы вблизи, а во – вторых, что журналист в нашем болоте может заработать только мозоли на ногах и цирроз печени. Я давно уже бросил это глупое занятие, особенно после того как Наташа привела меня в Контору.

* * *

Контора, это было прибежище потерянных душ. Неприметный подвал с выходом или входом на пустыре возле №9-той детской больницы. На этом пустыре мы иногда жарили

шашлык, и пили коньяк в тиши больших старых деревьев и непролазных кустов шиповника.

Чем мы занимались?

Делали работы на заказ, писали все от эссе до выпускных и дипломов, решали задачи, чертили чертежи. Естественно это было подполье.

Сначала, я просто диктовал Наташе тексты из очередного учебника, а она клепала из них реферат, а затем сам втянулся, и начал зарабатывать деньги.

Конечно, мы были бандой.

Могучий полноватый Степан, напоминающий кого-то из сильно сдавших битлов, вечно с засаленной и нестриженной шевелюрой, в круглых очках, грозный и мудрый. Он был самым опытным из нас, поэтому делал работы по праву, к нему часто приходили милиционеры и ФСБшники, а еще из службы УФСИН.

Ленка – Гулена, вторая встретившаяся мне за целую жизнь настоящая нимфоманка, шатенка с носом горбинкой, невнятной внешности, но с сумасшедшим обаянием дикой кошки. Она постоянно крутила романы и разные аферы, поэтому единственная из нас еще тогда сама купила машину, квартиру, периодически устраивалась на новую хорошую работу, но всегда возвращалась в наше подполье.

Рыжая Лера – фигуристая девчина, принимавшая заказы и строившая всех нас по необходимости. У нее была мама бухгалтер, нерусский любовник, брат страдавший аутизмом

и без вести пропавший отец. Она была очень хорошим человеком, заменяла многим из нас, наверное, маму.

Худой и длинный Виталик, он все время жил в нашем подвале, охраняя компьютеры и другое имущество, кажется, скрывался от армии. Он был вечно всем должен, но занимал понемногу от этого его и прощали и не били. По ночам он иногда подрабатывал частным извозом на своей разваливающейся копейке, один раз его пытались задушить пара наркош, закинув на шею удавку, но он был юркий и, выскользнув – убежал.

Еще было много ребят, они постоянно приходили и уходили, я не помню всех лиц.

В подвале, мы часто работали по ночам, днем работать не давала учеба. Виталик распугивал многочисленное мышиное семейство, проживающее, где – то за стеной, и навещающее нас в самый неподходящий момент, заявляя о себе пронзительным писком, ставил чай с сушками и приглашал посмотреть очередную пиратскую копию голливудского фильма, скачанную им из Всемирной сети. Без нас он по ночам, когда не шоферил, смотрел лишь одну порнуху.

В общем, мы не скучали, отмечали вместе все праздники и Дни рождения, Степан и Ленка выступали в качестве главных спонсоров сих мероприятий, реже им являлся хозяин конторы – начинающий бизнесмен лет 30-ти – Витька, еще торговавший лесом и б/ушными принтерами.

* * *

Работая вместе с Наташей в Конторе, мы практически разбогатели, конечно, в понимании вечно нищих студентов. Однако: купили мне пейджер, его подарила Наташа на День варенья, Наташе накупили новых нарядов, приобрели складной обеденный стол, старый новый телевизор и еще оклеили холодильник модной импортной пленкой в цвета натурального дерева, хотя я настаивал только на желтом – солнечном цвете.

Но, ничего не изменилось...

– Устрой свою жизнь! – кричала Маша.

– Я пытаюсь жонглировать, – вздыхал я. – Но эти чертовы апельсины постоянно валятся из рук.

* * *

Иногда вспоминая все это, я просыпаюсь и долго не могу заснуть. Лежу, думаю, вспоминаю.

Иногда, проснувшись, я опускаю свою ладонь вниз, чтобы ощутить тепло моего невидимого пса, любимой собаки. Ее уже давно нет, но иногда, я встречаю ее в своих снах.

5. СНЫ о собаке

На кого она была похожа, твоя собака? – спрашивает в моем сне невидимый голос.

– На овчарку, пока не выросла, – отвечаю я, – только моя собака так и не выросла, это была очень маленькая дворовая овчарка... За овчарку ее можно было принять только с высоты птичьего полета, но птицам, наверное, совершенно неинтересна какая то там собака, – вздыхаю я в своем сне.

– Ты ее любил? – задает невидимый голос свой очередной вопрос.

– Да, – я киваю. – Помню одно лето, мы часто гуляли вместе на заброшенном пустыре, заросшем чудноватой золотистой травой. Там мы встречали закат за закатом, больше никогда я не видел таких теплых закатов. Мы погружались в него как в поток цвета сена, переходящий в цвета переспелого мандарина и затухающие угли, такие бывают у костра в компании с хорошими и близкими тебе по духу людьми. Этот пустырь с трех сторон окружали потрескавшиеся кирпичные стены без окон, склады, гаражи, какой-то завод, а с четвертой стороны – был высокий забор, за ним постоянно шли откуда-то, и непонятно куда – люди, не обращая на нас никакого внимания. Иногда, – шепчу я. – Мне начинало казаться, что они – эти люди, нас не видят. Мы с собакой существуем в параллельном им мире. У них, там – грязные серые

сумерки, шорох шин автомобилей, и запах жженой резины, пьяный смех, а у нас – золотая трава и теплый ветер в лицо, и даже небо над нами как – будто светлее и синее.

Я кидал своей собаке найденную тут же палку, – улыбаюсь я во сне, – а она приносила, счастливо повизгивая и танцуя у моих ног. Ей было уже лет восемь, но она вела себя как настоящий щенок, наверное, потому что чувствовала, что я ее люблю, а не просто кладу в миску, то, что мы не доели вчера.

– Ты помнишь, как она умерла..., – спрашивает безжалостный голос моих сновидений.

Я – молчу, только чувствую, как что-то горячее течет из моих глаз. Я, хочу закричать, и вырваться, убежать от этих слов, пока на краешке сна и яви не появляется пушистый и безумно рыжий хвост, который смахивает мои невидимые слезы. Мне кажется, что это – лиса.

6. Лиса прогонит твой страх

Лиса прогонит твой страх, – сказал мне в одном из старых снов шаман с руками, от кончиков пальцев и до локтей расписанными извивающимися змеями, кусающими свой собственный хвост. Конечно, я ничего не понял, ни тогда не позже, когда этот сон повторился, или эти слова неожиданно всплывали в моей голове, отпечатываясь на краешке зрачков с обратной стороны моей луны. Наверное, все было так, потому что я торопился проснуться, потому что был должен...

* * *

– Ты должен, – говорит Маша. В последнее время я перестал слушать, то, что она говорит. Наверное, потому что не хочу ее потерять. А если выслушаю, то захочу. Я знаю, что должен...

«Ты должен...» Я хочу сказать, что никому ничего должен, кроме мамы, только могу хотеть или желать, а для этого я должен видеть в тебе тепло, огонь или шорохи волн, но молчу. Все равно это было давно и прошло.



Но я уже знаю, что мы скоро расстанемся. Нужен только повод, спусковой крючок, кульминация пьесы. И повод нашелся, он был таким незначительным, что я его позабыл, совершенно не помню. После нашего расставания Маша изводила меня звонками и неожиданными встречами с попытками заговорить, месяц, или около того, а затем, неожиданно исчезла.

Спустя месяц, Маша снова проявилась в моей жизни, невидимой сущностью – посетив Контору, эту подвальную Мекку потерянных душ, в мое отсутствие, только для того, чтобы, как опытный партизан – диверсант, стереть всю базу моих готовых работ, и даже те, которые я еще не успел отдать заказчикам или доделать. Тогда что-то удалось восстановить, что-то пришлось писать заново. А потом я узнал, что Маша стремительно вышла замуж. Это была еще одна ее не вполне удавшаяся попытка женской мести – переспать с мальчиком из моей параллели, вылившаяся в неплановую беременность и замужество. Они прожили вместе вплоть до рождения ребенка и еще пару месяцев. А затем середине зимы он выставил их вместе с ребенком за порог. Не знаю, появись она тогда на моем пороге, возможно я бы ее простил, но к счастью звезды рассудили иначе, и Маша отправилась к Денису, которого когда-то ждала из армии и не дождалась. А я, на-

чал жизнь свободного человека, таким летуче свободным и беспечным можно чувствовать себя только до той поры пока тебе не стукнет лет тридцать, и я летал во сне и наяву, потому что мне еще не стукнуло третьим десятком.

* * *

Заработав в Конторе неприлично большую для обычного студента сумму, я впервые задумался о том, что хочу улететь к морю. Эта идея так меня распирала, что постоянно прорывалась наружу, я смело делился ей со всеми вокруг, и конечно с потерянными душами из нашего подпольного бизнеса, я тоже делился. Я просто сыпал искрами и от них зажигались звезды и малознакомые доселе личности женского пола, предлагали неожиданно познакомиться ближе. И я согласился – вольная птица. В итоге, к морю, мы отправились впятером: Л с младшим братишкой, я и еще одна Л со своей пятилетней дочуркой.

За пару суток до отправления к морю, мы с двумя Л напились и занялись непотребством. На следующий день уже дома, я сидел и улыбался как идиот, вспоминая прошедшую ночь. Эти гетеры чуть – чуть меня не порвали на парочку равноценных, но поцарапанных и истертых в разных неприличных местах Кириллов.

– Больше никакого интима! – заявил я обеим Л, при следующей встрече. Л дружно заржали.

На поезде мы добрались в Туапсе – в царство Великой черепахи, к побережью Черного моря. Заселились в уютном однокомнатном гнездышке на четвертом этаже неказистого многоквартирного домика по самую крышу увитого виноградными лозами. Мне достался личный балкон, застекленный укрытый тенью огромного кипариса и тенями далеких зеленых гор.

Конечно в первую же ночь обе Л заявили ко мне предлагая продолжить наше распутство. Я отнекивался как юная гимназистка, их попытка меня подпоить, также не удалась. Они настаивали, а я попытался обратиться к их разуму: мы разбудим детей... Этот аргумент оказался весомым, но Л конечно обиделись, и отправились на кухню, прихватив последнюю бутылку вина. Бутылка вина двум барышням с Урала, с третьим или четвертым размером лифа и богатым жизненным опытом была как дробина слону и девочки отправились на поиски приключений. Я проснулся в три часа ночи от их жалобных криков у моего балкона, оказывается, они потеряли ключи, когда прятались в кустах и убегали узкими южными дворами от четверых гордых кавказцев. Л очень боялись, что эти самые джигиты вот – вот появятся на горизонте и сделают с ними в принципе то, что они так желали получить от меня. Такая нелинейная женская логика. Мы

пили чай остаток ночи на все той же кухне, за окном маячили большие южные звезды и надрывались цикады, в наших головах шумело море, к которому мы договорились отправиться утром. А пока..., девочки рассказали, что гуляли по барам, и, выбрав один, как им тогда показалось самый яркий, с большим камином, где жарили шашлык, с развешанными по стенам шкурами медведей и связками неизвестных трав, наполненный одними здоровыми мужиками, они заказали по вину. Официант типичной южной внешности принес им пару бокалов красного, девчонки заржали, сказав, что имели в виду по бутылке на человека. Когда мои Л заказали по второй бутылке красненького, и в унисон запели «Чужие губы», сидящие за соседним столиком кавказцы начали давиться своим шашлыком. И тут же воспылали к сим стойким и голосистым гуриям неземной любовью, от которой обе Л и слиняли, объяснив джигитам, что дамам необходимо в туалет попудрить носик, а сами вылезли в окно и растворились в горячей южной ночи.

* * *

Я проснулся в семь утра, удивительно отдохнувшим, обе Л залихватски храпели, рядом с балконом на полу бесшумно играла в куклы дочка одной из этих милых гурий. Этот чудо ребенок всегда просыпался в одно и то же время, сам умывался, ходил в туалет, после чего снова мыл свои лапки, до-

ставал из сумки любимых кукол и самозабвенно играл. Такой же блондинистый, как и мама, ангел лишь пару раз подходил к непутевой родительнице, чтобы тихо спросить: мама ты спишь? Слыша в ответ: доча, ага. И спустя час со стаканом воды: мама хочет пить. С закрытыми глазами мама поднималась на локте. Утопая в своих длинны светлых волосах. Из под распущенных волос выглядывала обнаженная грудь. И выпивала стакан воды, принесенный ребенком. Так было на протяжении всего нашего отпуска.

Иногда я садил этого ангелочка на свои плечи, когда она уставала в пути, покупал мороженное, и один раз читал сказку из потрепанной книги, оставленной в нашей квартирке предыдущими ее обитателями – такими же, как мы, отпускниками. Несколько раз она как будто случайно называла меня папой, я старался не обращать на это внимание, подозревая, что этому ее научила Л, но возможно сам всего лишь заблуждался.

* * *

Так, мы своей маленькой комунной прожили в Туапсе почти месяц, а запомнилось отчаянно мало, лишь одно помню точно – я был тогда счастлив. Вставая пораньше, я часто гулял по дышащему свежестью и солью такому уютному городку, иногда поднимался в горы по крутым тропинкам, а потом, после совместного завтрака, мы все дружно отправ-

лялись к морю и купались и загорали, пока солнце не загоняло нас в тень. Потом закупались на шумном колхозном рынке, готовили, отдыхали, играли в карты, гуляли по вечернему Туапсе, танцевали на сто и одной дискотеке, снова пили вино, много смеялись и улыбались. Однажды, мне показалось, что я вижу рыжий хвост, промелькнувший за углом высокого каменного забора, скрывающего чей-то цветущий фруктовый сад. Но, я тогда не смог вспомнить, чтобы это все могло значить, и решил, что показалось... Я помню как шумело – то самое Черное море, и мерцали заросшие зеленью невысокие горы на горизонте. Я все еще иногда просыпаюсь, ощущая их тень, и еще тень огромного кипариса, которая в моем сознании сливается с тенью уральского кедра.

7. Я помню бесконечное небо пронзенное стрижами

Я помню бесконечное небо пронзенное стрижами, я лежу прямо на пушистой траве в тени большого старого кедра на одном из трех братьев холмов венчающих заброшенную уральскую деревеньку с говорящим названием Остяцкое. Был здесь когда – то стан гордого лесного племени – остяков, затем деловитее русское селение добытчиков пушного зверя и рябчиков, колхоз – «Богатырь», а теперь – очередная брошенка.

А дед говорит, что эти холмы – древние курганы, которым более тысячи лет и лежат под ними – великие вожди, возможно, тех самых легендарных сибирских скифов, не случайно в начале 20 века один местный крестьянин распахивая поле под пашню, наткнулся здесь на серебряный котел, покрытый местами облупившейся золотой шелухой. Этой самой шелухой два поколения родни удачливого находника лечились в голодные времена от золотухи, пока котел не забрали в местный краеведческий музей в Чердыни, а затем отправили в Санкт-Петербург, где он пропал в каком – из запасников Эрмитажа.

Я знаю, что сибирские скифы были умелыми войнами, украшали свое тело татуировками, изображавшими рыб и

хищных котов, поклонялись огненной деве – богине Табите – Весте, поэтому любили магию золота.

Не скифов, не остяков, ни русских здесь нет давно.

Люди всегда уходят, а география места остается, также как некоторые его топографические особенности. Свой кедр – исполин растет на каждом из трех холмов бывшего Остяцкого, вцепившись в эту землю корнями, почерневшими от прошедшего за горизонт времени и безвременья, и ставшими от этого тверже стали. От этого и стоят кедров гордо как войны. Сами выросли? Нет... Думаю, их кто – то посадил здесь когда-то – специально. Возможно, для того, чтобы дух этого священного и почитаемого Отцом – дерева хранил людей, тех, что решили ставить в долине трех холмов свои дома – жилища из лосинных шкур, землянки, бревенчатые избы и дощаные бараки. Случилось это лет триста или четыреста назад, а может и тысячу или две тысячи лет, так как теперь кедров замогучели – в два три обхвата и с полсотни метров до макушки, усыпанной шишками. Так и стоят застывшие в веках истинные стражи этой земли, которым некого охранять, кроме могил забытых предков и развалин домов.

В паре метров от меня, из под земли пробивается родник. Вода конечно в нем чистейшая, только не могу почувствовать ее вкуса, настолько она ледяная. На дне родника желтый песок, наверное, поэтому вода из родника не стекает говорливым потоком вниз, а возвращается – обратно, под землю, откуда пришла, просачиваясь сквозь песчаное дно, похожее

на ровный круг размером в локоть – словно солнце, отразившееся в этой живой воде.

Вода, набранная в ладони вкусна, я пью ее так, что окунаюсь – погружаюсь в нее лицом – и набираюсь в ней сил. Сколько энергии в потоке, который пробившись из низин, бьет из верхушки холма на стометровую высоту? Верю, что много, поэтому и пью до ломоты в зубах. Я знаю, что, навряд ли, вернусь сюда снова. И попал то случайно, просто у дяди Коли заглох мотоцикл, на котором мы ездили в Дальний лес за белыми грибами. Я снова гощу в городе своего детства, находящемся в паре десятков километров от этой заброшенной деревеньки, двадцать лет спустя после последнего моего визита, а дядя Коля ушел в лесхоз, чтобы договорится о тракторе – буксире или найти дельного механика, чтобы починить своего железного коня.

Мотоцикл стоит под холмом, я на холме, внизу скучно, я забрался повыше, чтобы лучше видеть это самое небо и увидел родник. Вокруг безмерные дали и тишина, только хлопчут стрижи, пронзая собой небосвод.

Во всей деревне, сохранились относительно целыми, лишь три дома, и те с провалившейся крышей. Остальные жилища превратились в бесформенные кучи из бревен, либо растворились от непогоды – пятидесяти суровых зим и бесконечных осенних дождей, на их месте лишь разросшиеся и смешавшиеся с сорняками огороды или заросли одичавшей малины. Кусты малины – выше человеческого роста, цепкие

как колючка, которой принято по периметру оплетать зоны, раскиданные по лесам и болотистым равнинам.

Один из первых местных сидельцев был знатен и именит, он вошел в большую историю как предок последней династии русских царей – императоров. Михаил Никитич Романов. Его привезли в далекий выселок Ныробку суровой зимой, в глухой кибитке, скованного с ног до головы тяжелыми цепями, с железным ошейником, в ножных кандалах. Вся эта амуниция весила пудов тридцать – сорок. Кованное железо, нужно было для того, чтобы удержать волю могучего и спесивого боярина и принизить его гонор, притянуть к земле матушке, чтоб не поднялся более с колен.

По прибытии завшивевшие от долгого пути – три месяца в дороге без бани и должной помывки, исхудавшие стрельцы, стали копать в промерзшей сибирской земле яму, новое жильё для недруга царя Бориса Годунова. Чтобы боярин Романов не замерз враз в этих негостеприимных краях, стрельцами была ставлена небольшая каменная печь, какова отапливалась самим узником. Яма, в которой он сидел, сверху была обложена досками, засыпанными землей как в могиле. Правда вверху сторожа сделали небольшое окошко, через которое узнику подавали дрова и скудную деревенскую пищу: хлеб и воду. Михаил Никитич просидел в яме до самой весны. Недюжил, харкал кровью, исхудал аки костяк, превратился в серую тень. Жалостливые и волелюбивые ныробцы тайно подсылали к его яме своих отчаянных чад – носить

узнику молоко, квас и другую крестьянскую снедь. Так было, пока какой-то недобрый человек не донес. И вот, пять человек нырбцов по личному указу царя Бориса Годунова отправлены были в Казань на пытки, где сгинули без следа. Вскоре умер и сам именитый пленник – Михаил Никитич. По слухам, опальный боярин был задушен или заморен голодом своей стражей, тяготившейся жизнью в глухой сибирской деревне. После этой истории в наш край ссылали еще много народу и простого и не менее именитого, чем нырбский узник, были тут соратники Степана Разина, кто-то из декабристов, Борис Мандельштам и многие, многие другие.

Эта земля – ссыльный край, или просто край, который зимой бывает, засыпает по самые маковки, и пройти здесь можно лишь на лыжах, или ждать нетрезвого тракториста.

И все равно, здесь хорошо, особенно летом, когда все вокруг цвет буйно и ярко. А тени укрывают тебя, а солнце гладит как мать дитя, ветер приносит сто один запах вкуснее их, ты и не знал. Если закрыть глаза можно ощутить их вкус: луговая ромашка и зверобой – вересковая горечь, хвоя и зеленые шишки – смола; клевер, река – похожи на мед, и еще и еще.

Там внизу, землю обнимает небольшая река, нежным изгибом обвивая пространство от виднокрая до виднокрая, в ней полно серебра, сотня или более того рыбешек размером с ладонь снует у самого дна. За излучиной реки, в зарослях камыша и стелющихся у земли одичалых яблонек застыла тень водяной мельницы. Еще целы гребные колеса. И сло-

жены у входа в мельню истертые гранитные жернова поросшие зеленым мхом. На излучине серые утки с выводками из нескольких десятков птенцов. Так выглядит мир, из которого уходят люди. Я вздыхаю, а, получается, вдохнуть полной грудью этот букет дорого вина, хочу запомнить его вкус, для чего снова закрываю глаза. И, конечно же, засыпаю.

* * *

В моем сне вместо небесной благодати скачет на одной ножке обутой в рваный лапоть рыжий – кудлатый индивид, звероватой наружности и поет хриплым басом:

Я хожу-брожу по своим полям, по своим дорогам, по своим лесам:

Зерно найду – муку мелю,

Щепу найду – очаг кормлю.

Ты за мной не ходи,

На пути не вставай, делу не мешай.

Будешь мешать – зверем обернусь.

Зверем обернусь – Царю поклонюсь.

Ты Царь для лесов-полей, для меня Отец,

Для врагов моих – лютый Зверь.

Выйди ты со мной, покажись, жутким страхом явись.

Чтоб бежал далеко,

Чтобы прятался глубоко.

Чтоб не зарился он на мои поля,

Не облизывался на мои леса,
Чтоб как выйдет он на мою дорогу,
Царь лесной на него наводил тревогу.
Как словом, помыслом, делом мне помешает,
Жуткий страх ему в сердце заглянет – разум скует, ноги
сплетет,

В нору загонит, далеко прогонит.

Силой Лесного Царя.

Так будет,

Так есть!

Аминь.

– Сгинь нечистый, – кричу я этому рыжему чуду-юду в
своем случайном сне, и просыпаюсь.

* * *

– Кирилл, – кричит дядя Коля. Он стоит под холмом ря-
дом со своим железным конем, а рядом с ним мужичок в
грязной спецовке, рыжий, кудлатый, с крохотными бегающи-
ми глазками, очень уж похожий на того – из моего сна.

– Сгинь, – шепчу я спускаясь с холма, а рыжий, лишь щер-
бата скалится. Он копается в мотоцикле не более получа-
са, после того, мотоцикл неожиданно заводится и мы, нако-
нец-то отправляемся домой, дав рыжему сто рублей на опо-
хмел.

По дороге дядя Коля вспоминает, что хотел показать мне

два местных источника, один с мертвой водой, а другой с живой, прямо как в старой сказке. Я верю в местные сказки, потому что провел здесь большую часть своего детства.

* * *

На северной окраине села Покча в семи километрах от города моего детства Чердыни из под земли бьют десятки чистейших ключей. Один из них и есть родник «Мертвой воды». По местным преданьям, в XV веке на этом самом месте захватчиками – москвитами был пленен и казнен гордый покчинский князец с женой и пятью детьми, и на следующий день свершилось чудо, нет, они не воскресли, просто из под земли, пропитавшейся их кровью, забили семь ключиков. Если приглядеться, можно различить все семь плачущих подземных струй и сейчас: две сильных и пять – поменьше, сливающихся в круглое озерцо. Никто не знает и не помнит уже, почему вода в источнике – мертва. На все вопросы местные отвечают одинаково:

– Так старики говорят, им виднее.

Спрыгнув с мотоцикла, я склоняюсь к источнику, чтобы зачерпнуть ладошкой прохладной воды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.